

ЭТО БЫЛО
В ЛЕНИНГРАДЕ

А. Чаковский

У НАС УЖЕ
УТРО

Это было в Ленинграде

Александр Чаковский

Военный корреспондент

1944-1946

Чаковский А. Б.

Военный корреспондент / А. Б. Чаковский — 1944-1946 — (Это
было в Ленинграде)

© Чаковский А. Б., 1944-1946

Содержание

* * *	5
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Александр Чаковский

Военный корреспондент

(Это было в Ленинграде-1)

* * *

Редакция помещалась в поезде. Поезд стоял в железнодорожном тупике, близ небольшого городка, в тридцати километрах от фронта.

По обе стороны полотна тянулись лес и болото. Зимой, выходя из вагона, мы проваливались в сугробы, осенью – в трясину.

«Лесисто-болотистая местность» – так официально назывались те места, где мы стояли. У нас острили: «Жизнь в лесисто-болотистой местности...», «Любовь в лесисто-болотистой местности...». Когда был объявлен конкурс на лучшее название отдела юмора в нашей газете, кто-то предложил, не мудствуя: «Юмор в лесисто-болотистой местности».

Когда-то это был благоустроенный поезд. В коридорах вагонов ещё лежали ковровые дорожки. На диванах белели чехлы. На стенах, под стеклом, висели объявления треста «Вагон-ресторан»: краснощёкий юноша в поварском колпаке нёс на блюде поросёнка. Постепенно чехлы и дорожки исчезли, но юноша с поросёнком уцелел...

Канонада глох доносилась до нашего слуха. По ночам, приоткрыв замаскированные окна вагона, можно было видеть, как режут небо лезвия прожекторов.

В купе нас было трое: Венцель, Губин и я. Губин писал стихи, Венцель и я – прозу.

К поезду привыкли. Мне стало казаться, что, когда война кончится, я и дома буду открывать дверь рывком в сторону.

Столовой в нашем поезде ещё не было. Мы ходили завтракать, обедать и ужинать в маленький домик на разъезде. Там жила стрелочница Евдокия Семёновна. Она готовила нам еду. Хозяйку мы звали просто Дуня. У неё был огромный самовар, каждый из нас выпивал по пять-шесть стаканов чаю. В домике не было диванов, но там стояли обыкновенные стулья со спинками и дверь открывалась по-человечески. Избушка на разъезде стала нашим клубом, домом отдыха...

Наша история началась со сводки Информбюро о разгроме тихвинской немецкой группировки. На отвоёванном плацдарме создавался новый фронт. По дороге сюда мы часто стояли, пропуская эшелоны с войсками, оружием и боеприпасами.

По ночам, в купе, мы спорили о направлении главного удара и создавали планы генеральных сражений. Потом мы слушали ночную передачу ТАСС по радио и засыпали лишь под утро.

Война ещё не стала нашей профессией. Мы выглядели комично в новом, непригнанном обмундировании. Мы – это я и Губин; Венцель в прошлом был военным. Он единственный из нас походил на командира. Мы подтрунивали друг над другом, цитировали Швейка и менялись снаряжением.

В поезде была своя электростанция, и в вагоне горело электричество, но лампы светили тускло. Мы жили в постоянном полумраке.

Кругом были лес и снег. В ту пору мы ещё не знали, что под снегом скрываются бесконечные непросыхающие болота.

Нас окружала тишина. В первый день по приезде я увидел северное сияние, очень бледное и напоминавшее рассвет. Над горизонтом краснело зарево. Оно гораздо больше походило на северное сияние – такое, как его рисуют на картинках.

Жизнь в мирном поезде казалась нам дезертирством. Каждый из нас стремился скорее попасть на фронт. Я, как только приехал, спросил редактора, когда же можно выехать. Редактор ответил: «Успеешь». Он всем говорил «ты».

В ту зиму мы многое пережили, многому научились: не спать по суткам, разводить костёр на снегу, отыскивать блиндажи в лесах и снежных равнинах; мы научились разбираться в картах, спасаться от мин, отыскивать деревни, которых нет на карте и вообще нет на земле, ибо они сожжены и сровнены с землёй, будто по ним прошла гусеница гигантского танка... Научились ценить тепло крохотной землянки с железной печкой и спать сидя и стоя, спать в шофёрской кабине и в кузове, на обледенелых снарядных ящиках, на еловых ветках, брошенных прямо в снег... Научились знакомиться с людьми и вступать с ними в дружбу с первого слова.

В ту зиму наш фронт наступал. Был сделан прорыв, и силами кавалерийского корпуса взято много деревень и железнодорожных станций.

Наши войска двигались по линии железной дороги, соединяющей Москву с Ленинградом. Глубина фронта равнялась расстоянию между двумя станциями на этой дороге. «Стрела» проходила это расстояние за час с четвертью. Сейчас десятки тысяч вооружённых людей, тысячи орудий и бронепоезда штурмовали эти несколько десятков километров.

Многих названий деревень и станций, в которых теперь заключался для нас такой огромный смысл, я раньше просто не знал.

Для нас слово «Ленинград» не было только названием города. Оно приобрело значение лозунга. Оно стало синонимом слова «прорыв».

Среди нас было много ленинградцев. Они изредка получали письма «оттуда». В тот вечер письмо из Ленинграда получил Губин. Он читал его, держа на коленях и опустив голову.

— «...И Женя умерла, и Галя умерла, а мама ещё не умерла, но, наверное, умрёт на днях, потому что ей очень плохо... — прочёл он вслух, и губы его стали тонкими, как всегда, когда он волновался. — И не можешь ли ты прислать нам немного луку...»

Я не получал писем из Ленинграда. Я не знаю почему. Там жила женщина, которую я любил. В мирное время мы часто писали друг другу. Я приезжал к ней по нескольку раз в год. Она ждала меня на Московском вокзале и брала из моих рук маленький чемодан. У нас не было бурных встреч, мы встречались так, как будто лишь вчера расстались. Иногда мы шли к ней, за Нарвскую заставу, где жила её мать и маленькая дочка, но чаще ко мне в гостиницу. Мы садились на подоконник, раскрывали окно, если это было весной или летом, и смотрели на Исаакий и на широкую площадь. Мы не ездили на острова и на взморье и не катались с американских гор. Мы вообще мало гуляли. Нам было хорошо вдвоём.

Её звали Лида. Я вдруг перестал получать от неё письма. Я почувствовал себя так, как будто всю жизнь летел и вдруг упал на землю. Всё вокруг меня ещё летело куда-то по инерции, но я стоял на месте. Я отправил много писем ей и её знакомым — ответа не приходило. Я думал: «Завтра, ну, ещё завтра, ну, послезавтра...» Но ответа всё не было.

Я перечитывал её старые письма, стараясь забыть о датах, и каждый раз её слова звучали для меня по-иному. Подумать только, что я был от неё в четырёх часах езды на «Стреле». И я был совершенно беспомощен.

Когда Губин прочёл отрывок из своего письма, я вздрогнул. Мне это не приходило в голову. Я не допускал даже мысли, что именно это причина её молчания. Я попросил Губина дать мне прочесть всё письмо. Там было много страшного. Я несколько раз перечитал подпись, чужое мне имя.

Вечером я сидел в радиорубке и слушал музыку. Передавали Шестую симфонию Чайковского. Но я повернул ручку и стал слушать фокстроты с машинным, металлическим темпом. Под них не думалось. Потом я пошёл спать.

…Это было ночью. Я проснулся от грохота отодвигаемой двери. Кто-то шарил по стене, отыскивая выключатель. Зажёгся свет. Приехали из частей Венцель и Губин. Они ещё не сняли вещевые мешки с плеч. У них были красные, разгорячённые лица, и, когда они говорили, изо рта шёл пар.

Венцель был, видимо, в хорошем настроении. Он стал стягивать мешок, напевая песенку. Он пел всегда только одну песенку, вставляя в текст отсебятины. Получалось так: «Но ты уйдёшь… – куда ты уйдёшь? – холо-одной и далёкой… укутав сердце – во что? – в ме-ех и шиншил-ла…» В редакции его считали специалистом по юмору. Он вообще был весёлым, обаятельный человеком. В него влюблялись и женщины и мужчины. У него были волосы с проседью, детское лицо и надутые губы. Ему было сорок лет. Во сне он иногда стонал и всхлипывал: «Ах, мама моя…»

– Вставай, – сказал Венцель, – вставай и благодаря.

Он вытащил из мешка флягу.

– Письмо получил? – спросил Губин. Он был уже навеселе.

– Нет, – ответил я.

– Ну, получишь, – сказал Губин. – Почта виновата. Письма возят теперь через Ладогу.

Водка ударила мне в голову, стало легко, и всё вокруг потеряло глубину.

– Я знаю об одном случае, – сказал Венцель, – слушай меня, я знаю. Что? Это вот… – Он всегда вставлял «это вот» между фразами. – Ты слушай меня. Я встретил одну женщину. У неё сын на фронте. Полгода не писал. А потом – бац – десять писем подряд. Это всё почта. Ты слушай меня…

Я слушал его и верил. Я верил во что угодно, кроме одного. В это я не мог поверить.

– Конечно, это почта, – сказал я.

– А теперь будем спать, – предложил Венцель.

– Нет, я сначала прочту стихи, – сказал Губин.

– Завтра прочтёшь, – оборвал его Венцель.

– Нет, сегодня! – крикнул Губин.

– Пусть прочтёт сегодня, – примирительно сказал я и полез к себе на полку.

Губин начал декламировать Блока. Первые строфы я слышал. А потом заснул.

Наш фронт не знал чёрных дней отступления. Мы не видели дорог, забитых людьми, и не слышали горьких вопросов жителей: «Куда же вы уходите?» Мы по колени увязли в наших болотах, и если нам трудно было идти вперёд, то идти назад уже было невозможно.

У нас не было громких побед. Мы завидовали Западному и Южному фронтам, читая сводки Информбюро, но мы упорно, хотя и медленно, продвигались вперёд.

В просторном трёхкомнатном блиндаже командующего на стене висела карта нашего фронта: чёрная полоса показывала линию фронта на 1 сентября 1941 года, красная – на 1 января 1942 года. Красная была значительно северо-западнее.

В то время всем нам казалось, что основная цель нашего фронта – прорыв блокады Ленинграда – близка. Я, затаив дыхание, слушал разговоры о вариантах соединения с армией Ленфронта. Но победа пришла гораздо позже, чем мы предполагали.

…Как-то редактор сказал, подавая мне листок бумаги: «Надо написать листовку». Я прочёл бумагу. Это был приказ о наступлении, подписанный Военным советом. Я написал листовку к войскам. Она заканчивалась словами: «Ленинград нас ждёт. Вперёд, к Ленинграду!» Мне было очень трудно писать. Всегда трудно писать, когда чувства больше, чем слов.

Я сдал листовку редактору. Он сказал, что наши танки прорвали оборону немцев и начали рейд по тылам противника.

– Проберёшься к танкистам? – спросил редактор.

– Попробую, – ответил я.

— С Венцелем поедешь, — сказал редактор. — «Эмку» мою возьмёте.

Я пошёл отыскивать шофёра, а Венцель стал укладываться.

«Эмка» уже стояла у вагона. Красная надпись «такси» ещё не стёрлась на переднем стекле. Венцель сел рядом с шофёром, а я позади, и мы тронулись.

Нас ожидал длинный путь — сто двадцать километров по отвратительной дороге. Неожиданно наступило потепление. Мы уже привыкли к шуткам ленинградского климата и не удивлялись. По стёклам кабины лениво ползли капли воды. Венцель перегнулся ко мне и начал рассказывать одну из своих бесконечных пограничных историй: он когда-то служил на границе. Я слушал его и смотрел в оттаявшее окно.

Нам предстояло проехать двадцать километров до реки, пересечь её и проехать ещё километров сто. Внезапно послышались артиллерийские разрывы.

— По переправе бывают, — сказал Венцель.

— Почему ты думаешь, что по переправе? — спросил я.

— Не по чему им больше тут бить. Они всегда бывают по переправе.

Впереди не было машин, и мы ехали быстро. Канонада становилась всё слышней.

— Вот и Городище, — сказал я.

Через переднее стекло кабины уже были видны очертания разрушенных кирпичных домов. Издали городок казался огромной красной кучей.

Шофёр дал газ, мы свернули с дороги, ведущей на переправу, и уже через десять минут ехали по красноватому от кирпичной пыли снегу. В этом разрушенном мирке всё было красным.

Мы вышли из машины и пошли к развалинам.

Немецкая артиллерия была не умолкая. Снаряды ложились правее нас, где-то в районе переправы. Подул холодный ветер, начинало морозить.

Было видно, как горят костры в подвалах сохранившихся домов. Я заглянул в один из подвалов. Там тоже горел костёр и группа бойцов грелась у огня.

Никто не обернулся, когда мы вошли. Бойцы сидели вокруг костра и слушали кого-то. Говорила женщина. Мы не видели её лица, она сидела спиной к нам.

Мы тихо обошли круг, чтобы увидеть лицо говорившей. Это была совсем юная девушка. На вид ей нельзя было дать больше восемнадцати лет. У неё был очень высокий голос.

Девушка говорила о Ленинграде. Я понял это не сразу. Она не произносила слово «Ленинград». Девушка говорила «он», и мне сначала показалось, что речь идёт о каком-то человеке.

Девушка говорила о бомбёжках, артиллерийских обстрелах и о пожарах в городе. Она сказала, что Гостиный двор горел. Год назад я ходил с Лидой по Гостиному. Она хотела купить мне вечную ручку. Перебрала десяток ручек, прежде чем выбрала одну. Когда я попробовал писать, ничего не вышло: ручку надо было встряхивать, как градусник, чтобы показалась капля чернил. Я потерял ручку по дороге на фронт.

Наконец девушка кончила говорить.

Я подошёл и спросил, давно ли она из Ленинграда. Но девушка ответила, что никогда там и не была, а всё это только слышала и читала. Она агитатор полка и всю жизнь провела в Забайкалье.

Я почувствовал, как холодно в подвале. Пахло сыростью.

— Вот кончится война, — сказала девушка, — тогда обязательно в Ленинград поеду. А вы ленинградец? У нас в дивизии тоже есть ленинградец. Врач. Он где-то в соседнем подвале. Хотите, пойдём к нему?

Но ни в одном из соседних подвалов врача не оказалось.

Я стоял на ветру. Артиллерия замолкла. Стало совсем темно. Я не знал, для чего, собственно, ищу этого врача. Не знал, о чём буду говорить с ним. Ведь было бы бессмысленно спрашивать одного из миллионов ленинградцев, не знает ли он такую-то...

И всё-таки мне очень хотелось увидеть врача. Это шло уже не от разума. Мне просто хотелось увидеть перед собой ленинградца.

У входа в подвал с мешком за плечами стоял Венцель.

– Где ты шатаешься? Надо ехать, пока перестали долбать. Кого ты там искал? – спросил Венцель.

– Врача-ленинградца, – ответил я.

– О ней узнать хотел?

– Нет. Откуда ему знать. Просто хотел поговорить с ленинградцем.

– Земляка ищешь? Все в армии земляков ищут. Это уже так положено. Политруки даже работу специальную проводят.

– Почему это? – спросил я.

– Что «почему»?

– Почему всем так хочется встретить человека из одной деревни, из одного города?

– Что ж тут непонятного? Хочется старое вспомнить. Как жили раньше.

– А тебе не кажется, что именно на войне особенно любишь человека?

– Ну, это уже философия, – сказал Венцель. – Где же наша машина?

В темноте мы отыскали машину. Шоффёр Шелехов спал. Мы разбудили его, и он с трудом завёл мотор.

На переправе было пустынно. Мы съехали с пригорка и через несколько минут были на той стороне реки. Опять начала бить артиллерия. В перерывах между залпами слышались пулемётные очереди.

Теперь мы ехали по лесной опушке. Шелехов включил фару, и стало видно, как дорога уходит в тёмную громаду леса.

– Заяц! – крикнул вдруг Шелехов.

Посреди дороги, ослеплённый светом нашей фары, сидел, прижав уши, заяц. Мы быстро приближались, и заяц вырастал в размерах. Потом он вдруг очнулся, сделал резкий скачок и исчез в лесу.

– Вот косой чёрт! – восхищённо сказал Шелехов. Он помолчал немного и добавил: – А я письмо получил из дома. Жена спрашивает, когда война кончится. «Ты, говорит, там лучше знаешь». А чего я ей отвечу?

– Надо ответить, – посоветовал я.

Я подумал о том, что, когда идёшь в дальнюю дорогу, никогда не надо высчитывать, сколько прошёл и сколько осталось: так измучишься. Надо идти и думать о другом.

Мы ехали молча до тех пор, пока не увидели быстро приближающуюся к нам чёрную массу.

– Пробка, – сказал Венцель и выругался.

Шелехов затормозил, и я выскочил из машины.

Артиллерийские разрывы стали оглушительно громкими. По небу поползли светлые чёрточки трассирующих очередей. Пули как бы нехотя отрывались от земли и плыли в небо.

Впереди было какое-то движение. Видно было, как в темноте люди в полушубках сновали около машин. Шумели моторы.

Вдали показалась машина. Фары вспыхивали и гасли. Машина быстро приближалась. Регулировщик поднял свой флагок и помахал фонарём. Машина, резко тормозя, остановилась метрах в трёх от нас.

– В чём там дело? – спросил я.

— Долбают, — хрипло ответил шофёр, высунувшись из кабины. При свете «летучей мыши» я увидел его грязное, потное лицо. — По горловине долбают. В обход надо ехать.

Километрах в трёх от нас находилась «горловина» — самое узкое место нашего «коридора». Немцы простреливали горловину, чтобы помешать подвозу снарядов и эвакуации раненых. Я вернулся к Венцелью и рассказал ему, в чём дело.

— Поедем, — подумав, сказал Венцель. — Проскочим. Знаю я эту обходную дорогу. Ни черта там на «эмке» не проедешь. А тут проскочим. Садись!

Канонада усиливалась.

Мы неслись со скоростью пятидесяти километров. Машина резко подпрыгивала на ухабах. Со всех сторон слышались артиллерийские разрывы. Трассирующие пули бороздили небо, и звёзды казались тусклыми. Внезапно в машине стало светло, как при вспышке магния. Справа от нас в небе повисла ракета. Она горела ровным бело-синим цветом и висела неподвижно, как лампа.

— Газуй, газуй! — крикнул я.

Но быстрее нельзя было ехать по этой дороге. Я смотрел на оттаявшее окно. Мелькнул силуэт танка. Танк стоял сбоку, у дороги. Мне казалось, что ракета никогда не погаснет. Она погасла внезапно — очевидно, её подбили наши. Снова всё погрузилось во тьму. Трассирующие пули ползли совсем низко над землёй. Мне показалось, что одна из них проплыла вровень с нашей машиной.

Мы молчали. Внезапно машину тряхнуло, я почувствовал сильный толчок и удар по голове...

Очнувшись, я увидел, что лежу в яме. Было темно. Я поднял голову и ударился обо что-то. Я понял, что лежу под нашей «эмкой». Рядом был Венцель. Шелехов тоже лежал тут.

— Прошло? — спросил Венцель, когда я поднял голову. — В воронку угодили. Я перетащил тебя под машину, тут спокойнее.

Я ничего не видел, но слышал частые разрывы и свист пуль.

— Голова болит? — спросил Венцель.

— Нет.

— Потом заболит.

— Мы долго будем так лежать? Надо хоть посмотреть обстановку, — сказал я.

— А по-моему, надо лежать, — возразил Венцель.

— Ну и доложишься, пока тебе «хенде хох» скажут.

Я стал вылезать из-под машины. Венцель пополз за мной.

— Ехать всё равно нельзя, — сказал Шелехов нам вслед, — радиатор осколком пробило. Вся вода вытекла.

По обе стороны дороги темнел лес. Там щёлкали выстрелы, часто, как град по стеклу. Трудно было понять, наши это стреляют или немцы. «Очень вероятно, что немцы, — подумал я. — Они стремятся перерезать горловину». Мне показалось, что я вижу между деревьями людей в белых балахонах. Трассирующая пуля проплыла совсем низко, мимо лица Венциеля.

— Ты видел? — спросил Венцель и лёг в снег.

Я лёг рядом с ним. Потом вынул наган и взвёл курок. Снова показались люди между деревьями. Они приближались. Я уже видел очертания их автоматов, прижатых к бедру.

Потом услышал русскую речь. Это были наши автоматчики. Очевидно, они прочёсывали лес. Я спустил курок, придерживая его пальцем, и сунул наган за борт полушибука.

Справа с мягким треском лопнула ракета. Стало нестерпимо светло. Тёмная громада леса разделилась на сотни видимых деревьев. Дорога, наша «эмка» и мы сами очутились под резким голубоватым светом. Это выглядело феерически, но нам было не до восхищения. Этот свет действовал на нервы сильнее, чем обстрел. Нам казалось, что нас отовсюду видно, как на

ладони. Минуты, пока ракета висела в воздухе, были настоящей пыткой. Потом ракета потухла, рассыпавшись тысячью искр.

Мы лежали неподвижно.

– Ну, что будем делать? – снова спросил я.

– Вот ты и решай, – зло ответил Венцель.

– Ты старший, – сказал я.

Венцель был майором.

– А когда мы сидели под машиной, ты был старший?

Я ничего не ответил.

– Ты видел танк, когда мы проезжали? – спросил Венцель. – Так вот, пойдём попросим танкиста вытянуть нашу «эмку» из воронки. Стащим её под деревья и замаскируем.

На первый взгляд это показалось глупым – искать боевую машину и просить танкистов вытягивать «эмку». Но если бы они согласились!..

– Ладно, – сказал я. – А как быть с Шелеховым?

– Я никуда не пойду от машины, – отозвался Шелехов из-под кузова. – Обстрел обстрелям, а наш брат шофёр под любым огнём брошенную машину раскулачит.

Мы пошли искать танк.

Шли по узкой лесной просеке. Свистели пули. Мы не знали, кто нас окружает: свои или враги. Мне было очень страшно и хотелось думать, что другой тоже боится. Я знал, что горловина в этом месте равна километрам трём. Может быть, немцам уже удалось её перерезать. Нам не попалось навстречу ни одной машины. В перерывах между разрывами я слышал треск сучьев в лесу. Я шёл, держа наган в руке. Барабан был полный – семь патронов. У Венцеля был трофеинный парабеллум и запасная обойма. Он тоже держал пистолет наготове. Мы прошли молча километра полтора.

– Нет танка, – заметил я.

– Он должен быть дальше, – ответил Венцель.

– Ну конечно, будет он стоять и ждать тебя.

– Что ты огрызаешься? Может быть, танка и нет, тогда вернёмся к машине и переждём до утра.

Мы замолчали.

– Послушай, – сказал я, – а ведь когда-то по этой дороге ездили колхозники и было тихо...

– Никто тут не ездил, – раздражённо ответил Венцель. – Тут и дороги-то никакой не было. Её прорубили в лесу.

Он был прав, как всегда. До войны тут не было никакой дороги.

Мы опять замолчали.

– Ну, танка нет, – заявил Венцель.

Мы прошли уже не меньше двух километров. Идти дальше было бессмысленно.

Мы вернулись назад.

Однако в воронке «эмки» не оказалось. Она стояла недалеко от дороги, в лесу, тщательно замаскированная ветками.

– А меня вытянули, – весело крикнул Шелехов, высываясь из кабины. – Нашлась добрая душа. Шофёр один с трёхтонки пожалел и вытащил... Только ехать нельзя. Радиатор-то тю-тю!

– Ну, вот что, – предложил Венцель Шелехову, – ты теперь буксируйся к проходящей – и назад до автобата. В Мясном Бору нас и жди. А мы двинемся вперёд.

Я молча согласился с ним. Мы действительно потеряли много времени.

Командный пункт танковой части занимал блиндаж размером не более восьми квадратных метров. Справа, за узким столом, лицом к входу, сидел полковник в серой, накинутой на плечи бекеше. Полковник брился. Когда я вошёл, парикмахер мылил ему лицо. Одна щека

была белой от мыльной пены, другая казалась серой и осунувшейся. Напротив полковника расположился майор – начальник штаба. Слева от входа, на нарах, стояла рация. Она была освещена крохотной электрической лампочкой. Дальше лежали люди, но их лиц не было видно. Было тихо, только слышался звук скользящей по коже бритвы. На нарах у рации сидел радист с наушниками на голове. Один из них был сдвинут с уха.

– Есть ответ? – спросил полковник.

Радист вздрогнул, схватил микрофон и заговорил в трубку:

– «Роза», «Роза», говорит «Буря», жду ответа на радиограмму, жду ответа… Приём, приём…

Он передвинул рычажок на рации. Все молчали.

– Не отвечают, товарищ полковник, – доложил радист.

Полковник резко отвёл руку парикмахера с бритвой, шагнул к рации и взял микрофон. Он поднёс его ко рту так близко, что мыльная пена попала на чёрную пластмассу.

– «Роза»! «Роза»! – закричал полковник. – Почему не отвечаете, «Роза»?..

Затем он снял наушники с головы радиста и поднёс к уху, не надевая.

– Молчат! – сказал полковник, бросая наушники на колени радисту.

Он вернулся на своё место. Я заметил порез на его свежевыбритой щеке. Парикмахер тоже увидел кровь.

– Извините, кровь, товарищ полковник. Я сбегаю за квасцами, секунду. – Парикмахер вышел из блиндажа.

Начштаба повернул голову, заметил меня и кивнул.

– Пойдёмте, – бросил он мне.

Передвигаться по блиндажу ему приходилось согнувшись – он был очень высок. На нём была безрукавка мехом наружу.

– Хочу подышать воздухом, – сказал начштаба, когда мы вышли. – Слишком тесный блиндаж.

Была ночь. В темноте мы нашупали какое-то бревно и сели. Майор объяснил мне обстановку.

Наши танки прорвали оборону противника, вырвались на дорогу и продвинулись вглубь. Но немцы успели подтянуть резервы и поставили на дороге, в тылу наших танков, сильный противотанковый заслон. Положение тяжёлое. Боеприпасы на исходе. Пехотное подкрепление ещё не подошло. Уже сорок минут, как прервалась радиосвязь с танками. Принимаются меры… Вот, пожалуй, и всё.

Майор вздохнул, взял пригоршню снега и приложил его ко лбу.

Мы молчали. Я чувствовал сильный голод. Венцель, который пошёл в другую часть, по ошибке унёс мой мешок. Я вытащил сухарь из кармана.

– Сухарь жёте? – спросил майор.

– Сухарь.

– Дайте и мне.

Я отломил кусок сухаря и подал ему. Майор взял сухарь и поднёс ко рту.

– Не могу есть, – сказал он вдруг, встал и пошёл к блиндажу.

Я пошёл за майором.

В блиндаже всё было по-старому. Полковник сидел с намыленной щекой. Но рядом с ним мы увидели нового офицера с петлицами старшего лейтенанта. Его левая рука была забинтована. По белизне бинта и по розовому оттенку проступавшего кровяного пятна я догадался, что перевязка сделана недавно. Старший лейтенант положил раненую руку на стол, а правой неуклюже свёртывал папиросу. Когда мы вошли, полковник поднял голову и провёл пальцем по намыленной щеке.

– Где же парикмахер? – спросил он.

В ту же секунду начался артиллерийский обстрел.

Снаряды рвались в районе нашего блиндажа. Я слышал разрывы справа, слева, всюду, почти без промежутков, без пауз. Я чувствовал, как взрывная волна бьёт по стенкам. Пламя коптилки дрожало при каждом ударе. Грохот кругом не умолкал. Мне казалось, что всё смешалось. Был только грохот и дрожащий язычок пламени. Потом всё прекратилось. С последним разрывом погасла коптилка. Стало тихо. Люди тяжело дышали в темноте. Майор вынул спички и зажёг коптилку. Я спросил его, сколько накатов над нами. Начштаба поднял вверх один палец.

Все мы молчали. Кто-то храл на нарах так сильно, что его не могла заглушить никакая артиллерия. Я сел на землю и прислонился к стене. Земля в блиндаже была влажная. Есть мне уже не хотелось, но очень хотелось спать. Я закрыл глаза и стал считать разрывы где-то вдалеке. Досчитал до восемнадцати. Одновременно с восемнадцатым раздался громкий голос радиста:

– «Роза», «Роза» говорит!

Я открыл глаза и подался вперёд. Полковник стоял у рации. Говорила «Роза» – рация командирского танка, одного из тех шести, что дрались в десяти километрах от нас. Командир докладывал, что положение танков критическое.

Радист лихорадочно раскодировал цифры радиограммы:

– «Несколько немецких пушек ведут стрельбу термитными снарядами. Из леса показалось около десятка немецких танков. Один наш танк горит, но экипаж не прекращает стрельбы. Боеприпасы на исходе. Будем драться, пока живы. Всё».

А затем снова начался дьявольский обстрел, от которого хотелось лечь на землю и врьться в неё так, чтобы совсем исчезнуть с её поверхности.

– Засекли нашу рацию, наверно, – сказал начштаба.

– И засекать не надо, – ответил кто-то с нар. – Сутки назад тут немцы сидели. Небось свои дома-то знают.

Рвануло дверь блиндажа, погасла коптилка, и с потолка посыпалась земля.

– Выключите рацию на десять минут! – приказал полковник. – Да где же наконец брандбрай?

– Парикимахер убит, товарищ полковник, – сказал кто-то у дверей. – Бежал с квасцами этими, а его осколком…

– У вас мыло на лице, Борис Григорьевич, – заметил начштаба.

Полковник вынул платок и вытер остатки мыла.

Потекли страшные минуты. Рация молчала. Люди там, в танках, которых, казалось, мы только что слышали, стали вдруг бесконечно далёкими от нас. Я шёпотом спросил майора, кто командир того танка, который горит, но не сдаётся. Я закрыл глаза, и мне показалось, будто я вижу перед собой горящий танк. Все молчали и смотрели на радиста. Он снял телефоны и дремал, откинувшись на спину. Он не спал вторые сутки. Было тихо, но мне казалось, что я слышу хруст гусениц.

– Я поеду, – внезапно произнёс старший лейтенант с забинтованной рукой и встал.

– Нет, Пашковский.

– Мне нужны две машины – и я прорвусь.

– Вы не поедете, – сказал полковник, чуть повышая голос. – Вы ранены.

– Я командир батальона. Мои машины там, а я здесь. Разве это правильно? – возразил Пашковский.

В это время в землянку вошёл капитан. Он наклонился к уху полковника и что-то шепнул ему.

– Пехота подошла, – проговорил полковник вполголоса, ни к кому не обращаясь. – Вы действительно в состоянии ехать? – спросил он вдруг Пашковского.

Пашковский вскочил.

– Я могу идти?

– Идите. Пехота сосредоточивается на танковой исходной. Там же получите боеприпасы. Пашковский выбежал из блиндажа.

– Включите радио, – приказал полковник.

Я вышел вслед за Пашковским. Он шёл быстро.

– Я корреспондент, – сказал я, настигая его. – Где стоят ваши танки?

Пашковский ничего не ответил, но показал рукой на опушку леса.

Мы шли молча. Я едва поспевал за ним. Подойдя к опушке, я увидел несколько замаскированных танков.

– Андрианов! – позвал Пашковский.

Голова в шлеме показалась над люком одной из машин.

– Давай заводи! – весело крикнул Пашковский и добавил, обращаясь ко мне: – Это мой орёл. Три танка немецких утром подбил. Вот вернёмся, вы о нём роман напишите.

Андрианов снова скрылся в люке. Из леса выбежали бойцы и стали рассаживаться на броне танка.

Пашковский тоже исчез в люке. Загрохотал мотор. Танк стал разворачиваться, вздымая снежную пыль.

…Я вернулся на КП, когда было уже светло. Кругом чернели воронки. Осколков было много, как листьев осенью. Но каким-то чудом уцелел наш блиндаж… Там жили ожиданием Пашковского. От него уже поступила радиограмма. Он прорвался через горловину. Он уже видит наши танки, ведущие бой. Он спешит к ним на выручку. Часть десанта он высадил на дороге, чтобы не дать соединиться разрубленной петле…

Снова началось ожидание. Вернётся или не вернётся? И снова начался обстрел.

– Он вернётся, – убеждённо заявил полковник.

– Конечно, вернётся, – подтвердил начштаба.

– Пашковский-то не вернётся? – непонятно кому возражая, проговорил из темноты народный человек. – Да он из-под земли вернётся!

– Узкая горловина, – заметил начштаба после молчания.

– И всё-таки пробьётся.

Голос с нар пробасил:

– Пашковский? Обязательно пробьётся. К чёрту в ад и обратно. Это Пашковский-то? Хо-хо!

Полковник молчал. Потом он сказал:

– Степана жаль… Парикмахера.

Снова стало тихо. Было слышно, как капает с потолка талая вода. Звук падающих капель казался громким, как удары молотка.

Полковник посмотрел на часы, большие карманные часы с ключиком, болтавшимся на цепочке.

– Ему пора бы уже возвратиться, – сказал полковник. – Наверно, он уже близко. Я уверен, что он сейчас появится.

– Передают! – крикнул радиостанция.

Он стал записывать радиограмму, повторяя вполголоса цифры шифровки:

– Одиннадцать, сорок один, шестнадцать… – И подпись: – Пашковский.

Через минуту он расшифровал:

– «Задание выполнил. В тылу противник пытается вновь закрепиться на дороге. Возвращаюсь и одновременно ликвидирую заслон на дороге. Пашковский».

– Так, – сказал полковник и положил на стол перед собой свои большие часы.

Я вынул блокнот и попытался записывать всё, что вижу и слышу, но ничего не получалось. Нельзя было описать воздух, которым мы здесь дышали, звук артиллерийских разрывов, мысли людей...

Мы ждали Пашковского. Нам казалось, что нет ни ночи, ни дня. Два раза прерывалась радиосвязь. В третий раз мы сами выключили радио во время сумасшедшего артналёта.

Пашковский явился утром. Его лицо было в копоти, а повязка на руке – чёрная, как сажа.

Я вышел из блиндажа. Взошло солнце. Всё кругом стало как-то радостней. Я снял шапку и подставил голову холодному ветру.

Я решил пройти на огневые позиции артиллеристов. Пушки стояли в полукилометре от КП танковой части, где я провёл ночь.

Но мне не пришлось дойти до опушек. И вот как это случилось. Сначала я шёл, опускаясь в воронки и вылезая из них. Ям было так много, что земля казалась одной сплошной воронкой. Когда начинался артиллерийский налёт, – а он «начинался» каждые четверть часа, – приходилось прижиматься ко дну очередной воронки. В первой же паузе я решил сменить моё «бомбоубежище» на более глубокое. Этого, конечно, не следовало делать. Я убедился в этом несколько позже, очнувшись в передовом пункте медпомощи. Я сидел на скамье, опустив голову на грудь девушки-медсестры, а она гладила меня по волосам.

Я смутно припоминал, что летел куда-то, или всё вокруг меня куда-то летело, или плыл по воздуху, причём – это я уж наверное помню – плыл как-то задом наперёд. Потом будто остановился от какого-то резкого толчка, и всё перед глазами стало медленно перемещаться. Ну вот и всё, больше уже ничего не помню.

Когда очнулся, то услышал, как медсестра говорила, очевидно, диктовала кому-то:

– Капитан Савин. Контузия. Ранений нет. Эвакуировать.

Затем мои зубы стукнулись обо что-то, я открыл глаза и увидел другую девушку. Она держала у моих губ кружку с жидкостью. Я хлебнул. Это был коньяк. Сделал большой глоток, затем второй, но тут же всё поплыло куда-то и девушка стала медленно перевёртываться вниз головой. Затем почувствовал тошноту и, уже совсем куда-то проваливаясь, услышал голос:

– Нельзя ему коньяк давать...

Второй раз очнулся в санях. Я лежал рядом с двумя ранеными. Ездовой сидел впереди и время от времени давил своим задом на наши головы.

Я откинул одеяло и посмотрел вокруг. Было уже темно. Мы ехали очень медленно.

Затем я услышал над собой голос:

– А этот куда ранен?

– Он контуженый, – ответил ездовой.

Говорили, видимо, обо мне. Я попробовал приподняться, но в голове тут же зашумело и тошнота подкатилась к самому горлу. Меня взяли под руки с обеих сторон санитары и помогли встать. В большой санитарной палатке, куда меня ввели, горело электричество. Во всю её длину, над землёй, были установлены горизонтальные шесты. На них стояло несколько десятков носилок. На носилках лежали люди. Они стонали, звали санитаров, ругались и плакали.

Врач, осмотрев меня, направил в стационар. Меня снова взяли под руки и вывели из палатки. Была тихая ночь. Звёзды ярко сияли. Пахло весной, хотя был январь, и не хотелось никуда идти, а лечь вот здесь, между ёлками, и смотреть на небо...

Мы подошли к палатке. Один из санитаров приподнял полог, другой помог мне войти. Влажный полог задел меня по лицу, когда я проходил в палатку.

По обе стороны палатки вплотную стояли длинные ряды носилок, превращённых в койки. Все носилки были заняты, кроме одних, у самого входа. В конце палатки стоял стол, заставленный сплошь пузырьками и банками с какими-то жидкостями. Над столом висела электрическая лампочка. Две девушки в белых халатах, надетых поверх шинелей, стояли у

стола, когда меня ввели. В палатке было тепло. Топились две печки. Полная девушка со спокойным и широким лицом взяла у санитара мой листок.

— Уложите его на койку, — распорядилась она тихо, но так, что я всё слышал.

Санитар вернулся и начал было меня раздевать.

— Я сам могу, — сказал я и стал стягивать сапоги.

Левый сапог я снял легко, а когда стал снимать правый, стол и носилки поплыли перед моими глазами, и я услышал голос девушки:

— Вам сказали — раздеть, а вы что делаете?

Я не знал, который был час, когда открыл глаза. Горело электричество. Воздух в палатке был спёртый и жаркий. Вокруг стонали люди, но стоны эти как-то не доходили до моего сознания. Рядом со мной, на придвижной вплотную койке, лежал человек, укрытый одеялом с головой. Он, видимо, спал. Его полусогнутая нога лежала на моей койке. Я осторожно попробовал отодвинуть ногу, но она упиралась в другую ногу, и я никак не мог её сдвинуть.

Подошла сестра, та самая, с широким полным лицом. Я спросил, как её зовут. Она улыбнулась спокойной улыбкой — такой, что не замечаешь, как она появляется и как исчезает, и ответила:

— Люба.

Она принесла мне яичницу из порошка и чай в белой кружке. Я попросил её помочь мне убрать ногу соседа с моей койки. Люба резко отодвинула ногу.

— Осторожно, ему же больно, — закричал я.

— Нет, — ответила Люба, — ему уже не больно.

Внезапно чай показался мне горьким. Я вернул Любe кружку и закрыл глаза. Я открыл их, потому что кто-то дотронулся до моих ног. Двое санитаров стояли около меня и явно смущались, когда я открыл глаза. Они потоптались на месте и, убедившись, что ошиблись, перешли к соседней койке. Один из них с трудом пролез к изголовью моего соседа и поднял его за плечи. Другой взял труп за ноги, и они вынесли его из палаты.

Рядом со мной оказалась пустая койка. Люба сменила на ней простыню и взбила подушку. Я попытался уснуть, но не мог.

Напротив меня лежал боец-татарин. Ему было лет сорок. Он был ранен в живот. У него было маленькое лицо и редкие усыки. Иногда он начинал метаться на постели. Тогда к нему подходили санитар и Люба. Они брали его за плечи и за ноги и прижимали к постели. Татарин успокаивался и просил тонким, как писк комара, голоском: «Води, води!»...

Было, по-видимому, очень поздно. Но для меня это не имело никакого значения. С той минуты, как я очутился на этой койке, время потеряло всякий смысл. Мне захотелось допить тот сладкий чай, который я оставил в кружке. Люба принесла мне полкружки портвейна, хотя этого, кажется, не полагалось делать. Затем я начал изучать свою голову: кожа на правой стороне была чувствительной, но левая половина оставалась по-прежнему мертва.

Железная печь раскалилась докрасна. Жара стала нестерпимой, но приоткрыть полог у входа не удалось. Раненый рядом запротестовал, его знобило. Он был накрыт двумя шинелями поверх одеяла, но ему было холодно. Я сказал санитару, чтобы он покрыл его моим полушибком.

Раненого, лежащего через две койки от меня, всё время рвало. Кроме того, его мучила жажда. Он беспрестанно просил пить. Люба сказала мне, что у него началось воспаление брюшины.

...Утром палата, наполненная ярким светом, выглядела гораздо веселей, чем вечером. Место на койке рядом со мной было уже занято. На ней спал человек. Лица его не было видно, но слышалось тяжёлое дыхание.

Я лежал и думал о том, как скверно всё получилось. Я ни строчки не передал в газету. Танкиста Андрианова я уже, конечно, не увижу.

Мысль, что в редакции сидят без материала, не давала мне покоя. Вся надежда была на Венцеля.

Ко мне подошла Люба и спросила, как я спал.

– Отлично, – ответил я.

– Ну и хорошо, – улыбнулась она. – А это ваш новый сосед. Надеюсь, подружитесь. У него то же, что и у вас. Контузия, но более тяжёлая. Он только под утро пришёл в сознание.

– Где его контузило?

– Точно не знаю. Он танкист. Кажется, командир танка. Снаряд ударил в броню. Впрочем, я точно не знаю.

Люба ушла.

В маленьком окне в потолке виднелась еловая ветка. Освещённая солнцем, она казалась очень зелёной. Зелёный цвет действовал успокаивающе. Мне захотелось, чтобы всё вокруг было очень зелёное.

Человек на соседней койке застонал. В эту минуту вернулась Люба. Она подошла к койке, откинула одеяло, взяла руку больного и стала считать пульс, смотря на ручные часы. А я смотрел на лицо своего соседа. Мне казалось, что он улыбается во сне, а стонет за него кто-то другой.

– Шестьдесят два, – произнесла Люба вслух и закрыла раненого одеялом.

– Как его зовут? – спросил я.

Люба посмотрела в листок.

– Андрианов Николай Сергеевич. Лейтенант.

Я вздрогнул, услышав это имя. Вот где довелось нам встретиться! И тут же во мне заговорил журналист. «Если Андрианов чувствует себя мало-мальски прилично, – подумалось мне, – расспрошу его обо всём, здесь же, в госпитале, напишу о нём корреспонденцию, а затем попрошу любыми средствами передать её в газету».

В этот момент вошёл доктор. Он был без халата, в меховом жилете, перетянутом ремнями. Выслушав меня стетоскопом, он сказал: «Всё в порядке», – и хлопнул меня по спине ладонью. У доктора были холодные твёрдые руки.

– Отлично! – воскликнул он. – Ну-с, Люба, а как Андрианов?

– Он всё время спит, – ответила Люба. – Пульс шестьдесят два.

– Разбудим. – Доктор потормошил лейтенанта за плечо.

Андрианов открыл глаза. Я следил за выражением его лица. Сначала на нём отразилось удивление, потом он улыбнулся. Его нос стал ещё более курносым.

– Как дела, Андрианов? – громко спросил доктор.

Губы лейтенанта раскрылись, но все слышали только прерывистое мычание. Мне показалось, что для самого Андрианова это было неожиданностью. Улыбка исчезла с его лица. Он поднёс руку к глазам. Уголки его рта задрожали.

– Так, так… – протянул доктор и посмотрел на Любу.

– Ночью он разговаривал, – тихо сообщила Люба.

– Вы меня слышите, Андрианов? – громко спросил доктор.

Лейтенант быстро закивал головой. Доктор просунул руку под меховой жилет и вынул записную книжку с карандашом.

– Напишите, как вы себя чувствуете.

Андрианов схватил карандаш, книжку и что-то написал.

– Так, так, – вновь протянул доктор, – очень хорошо. А насчёт голоса – это не страшно, Андрианов. Это бывает часто при контузиях. Скоро всё будет в порядке.

Он улыбнулся. Андрианов тоже улыбнулся.

Доктор повернулся к Любе и что-то тихо сказал ей. Затем они пошли к столу.

Кто-то дотронулся до моего плеча. Это был Андрианов. Он промычал что-то и показал на рот.

– Ничего, – успокоил я его, – пройдёт. Это бывает очень часто. – Я заметил, что слово в слово повторяю доктора, и добавил: – Со мной то же было. А теперь вот прошло. И у тебя будет всё в порядке.

Андрианов растерянно пожал плечами, провёл пальцем по одеялу, будто пишет.

Люба подала карандаш и бумагу. Андрианов что-то написал и передал мне. Я прочёл:

– «Вот так штука у меня с голосом. Мычу, как корова. А вы из какой части?»

Я ответил и передал лейтенанту лист. Через минуту Андрианов вернул мне бумагу. Там было написано:

«А я из танковой части. Часть Горобца, слышали? Так я оттуда. Командир машины. Ещё вчера немцев утижил. Ну и скука же тут! Ну ничего, пробьюсь».

Я рассмеялся. Андрианов смеялся вместе со мной, только беззвучно.

Подошёл доктор.

– Лежите спокойно, Андрианов, – приказал он. – Вам надо лежать спокойно.

Андрианов что-то написал и протянул лист доктору.

– Остричь можете, – заметил доктор и улыбнулся, – но только тихо.

Лейтенант замычал и тоже улыбнулся. Потом я заснул. Когда я проснулся, в палате уже горело электричество. Люба разносила обед. Андрианов ел. Он посмотрел на меня, помахал ложкой и улыбнулся.

– Хорошо кормят? – спросил я.

Лейтенант замычал и тоже улыбнулся. Потом я заснул.

…Я проснулся ночью. Было тихо. Это были те редкие минуты, когда никто не стонал. Я увидел Любу. Она переходила от койки к койке, прислушиваясь к дыханию людей. Когда она подходила ко мне, я закрыл глаза. Потом я почувствовал, как её руки оправляют моё одеяло, взял её за руку и открыл глаза.

– А вы не спите, – тихо проговорила Люба и улыбнулась своей широкой улыбкой.

– Не сплю. А вы-то когда-нибудь спите?

Она тихонько высвободила свою руку.

– Моё дело такое. А вам положено спать. Спите!

– Не хочу, – ответил я. – Посидите немного со мной. Ведь вы уже всех обошли. Моя койка последняя.

Она послушно села.

– Трудно вам здесь? – спросил я.

– Всем трудно.

Она смотрела на меня своими спокойными полуприщуренными глазами.

– Сейчас бы в лес на лыжах, – сказал я, – а потом – к огню. Вы откуда сами?

– Из Луги я, – тихо ответила Люба.

– Что ж вы там делали, в Луге?

– Учились. В медицинском техникуме. Врачом думала быть.

– И муж есть?

– Был. Всё было. Ну, вам спать надо.

Она сделала движение, чтобы подняться, но я опять удержал её.

– Нет, вы посидите, – попросил я. – Значит, всё было: и муж и дом, а теперь – ничего…

Так?

– Выходит, так.

– Трудная ваша жизнь. Живёте среди страданий и стонов… И покоя вам нет.

– А на что он мне нужен, покой? – возразила Люба, и ресницы её дрогнули.

– Как на что? Иначе не забудешь о том, что было.

– Нет, – покачала она головой, – тогда бы и жить не смогла. Они меня, раненые, в жизни поддерживают. Я вижу, как они за жизнь цепляются, и сама цепляюсь. Силы много надо, чтобы жить сейчас.

Она провела ладонью по одеялу. У неё были длинные, заострённые пальцы.

– Вот тут, на вашей койке, одна девушка лежала. Тоже с контузией. Только у неё потом шея не поворачивалась. Всё по палате бродила, медленно так, как ребёнок двухгодовалый. Ходила и всё песенку пела. Про патефончик.

– Знаю.

– А ночью кричала всё: «Раненого забыли!» Она санинструктором была. Ночами сильно буйствовала. А днём всё бродила... Потом зовёт как-то меня и говорит: «Дай карандаш с бумагой, Я стихи напишу». Я ей дала. Она и написала... Хотите, покажу?

Она подошла к своему столику и вернулась с листком бумаги.

– Вот прочитайте.

Я прочёл:

Страшная штука война,
Можно сойти с ума.
Но это не для меня —
Я не сойду с ума.
Страшная штука война,
Но я поспорю с ней.
Я буду жить для того,
Чтобы спасать людей.
Пусть мины свистят кругом,
Пусть в ночь превратится день.
Меня на испуг не возьмёшь,
Я буду спасать людей...

– Что ж, она вам подарила эти стихи? – спросил я.

– Нет. Умерла она. Паралич и всё такое. Я и взяла листок на память. Прочту стихи, и легче станет. Бывает ведь так.

Она посмотрела на меня, улыбнулась, и ресницы её снова дрогнули. Потом она погладила меня по руке и встала.

– Ну, вы спите, – сказала она, притворно-строго сдвинув брови, – спать надо. А то я доктору пожалуюсь.

Я лежал и старался припомнить стихи. В них была какая-то исступлённая настойчивость. Потом кто-то застонал... Я не помню, как я заснул.

...Когда я проснулся, Андрианов ещё спал. Люба перекинула полотенце через плечо и с тазиком в руках подошла к Андрианову.

– Будем умываться, – приветливо сказала Люба.

Но Андрианов продолжал спать. Тогда она тихонько потормошила его за плечи.

– Довольно спать, соня! – Люба протянула проснувшемуся Андрианову кусочек мыла. Лейтенант не поднял руки.

– Держите же мыло, – сказала Люба.

Андрианов нерешительно поднял руку и пошевелил пальцами.

– Андрианов! – вскрикнула Люба, и голос её задрожал. – Вот же мыло!

Лейтенант растерянно улыбнулся и стал шарить руками по одеялу. Я видел, как дрожат руки Любы, держащие тазик, и как вода плещется через край.

– Вы... видите меня, Андрианов? – шёпотом спросила Люба.

Лейтенант отрицательно покачал головой и провёл рукой по глазам. Он ослеп.

Люба поставила тазик на пол и выбежала из палаты. Через несколько минут она вернулась с доктором.

– Вы меня видите, Андрианов? – деловито спросил доктор, подойдя к койке.

Лейтенант медленно покачал головой. Доктор наклонился и двумя пальцами приподнял веки Андрианова.

…Вечером у его постели был консилиум. А на другое утро Андрианов потерял слух. Теперь он лежал глухой, слепой и немой. Я наблюдал за ним часами. Чем больше ударов обрушивалось на него, тем шумливей и беспокойней он становился. Лейтенант кому-то улыбался, ёрзая на постели, показывал пальцами каких-то замысловатых зайчиков, что-то мычал, водил пальцами по ладони, изображая патефон; приставлял к глазам пальцы, сложенные в кружочки, – будто очки…

Под вечер он повернулся ко мне и промычал что-то, царапая пальцем по ладони. Я понял, что Андрианов хочет что-то написать, и вставил ему в пальцы правой руки карандаш, а в левую дал блокнот. Лейтенант черкнул что-то и протянул мне. Я прочёл. На листке было написано только одно слово: «Пробьюсь».

Я вырвал листок и положил себе под подушку.

На следующее утро, когда я проснулся и взглянул на Андрианова, мне показалось, что на его полуопущенных ресницах блестят слёзы. Я схватил руку Андрианова и крепко пожал её. Андрианов открыл свои невидящие глаза, задержал мою руку и поводил пальцами по ладони, будто пишет. Я понял, что это было то же самое слово, что и написанное им на листке.

Днём Андрианова разбил паралич. Теперь он лежал неподвижно, погружённый во мрак и тишину.

Мне было очень странно смотреть на его руки, на те самые руки, которые перед тем не знали ни минуты покоя, а теперь лежали беспомощно на толстом сером одеяле.

Пришёл доктор. Он потормошил Андрианова за плечо и спросил: «Ну как?» – хотя знал, что лейтенант глух.

К вечеру Андрианова эвакуировали.

Я посмотрел на его пустую кровать. Сейчас, когда Андрианова не было, он как бы стоял перед моими глазами. Немой, недвижимый, слепой, он всем обликом своим говорил мне больше, чем если бы имел дар речи, если бы смотрел на меня и жестикулировал. Я понял всё: и как он смог подбить три вражеских танка, и как он боролся со смертью.

Я вернулся из санбата в редакцию в воскресенье вечером. Шум «динамо» нашей электростанции был слышен ещё издалека, и мне стало приятно, что после долгих скитаний я возвращаюсь домой.

Я шагал по железнодорожному полотну и наблюдал, как серая стена нашего поезда с каждым шагом приближалась ко мне. Я влез на ступеньки вагона и открыл дверь.

В коридоре в полумраке тускло поблескивало толстое стекло, прикрывающее юношу с поросёнком. Было тихо, если не считать шума «динамо»: в понедельник газета не выходила. Я прошёл по коридору и открыл дверь в своё купе. Оно было пустым. Полки Губина и Венцеля были застелены плащ-палатками. Очевидно, оба они уехали в командировку. Я снял ушанку, расстегнул полуушубок и увидел письмо на столике у окна. Я хорошо знал этот почерк. Я не видел ничего, только эти буквы на конверте. Холодный, белый свет падал в окно. Мне показалось, что кто-то позвал меня оттуда, из пустоты. Я взял конверт в руки и прочёл адрес. На конверте было много адресов, перечёркнутых почтой. Письмо прошло большой путь. «Наконец-то! Наконец-то!» – стучало у меня в висках. Было страшно разорвать конверт. Я испытывал страх неизмеримо больший, чем тогда, в горловине или в блиндаже у танкистов. Я поднял голову, чтобы оторваться от этих букв на конверте и успокоиться.

Потом я разорвал конверт. На письме не было даты. Я начал читать. Письмо было ответом на одно из моих ранних бесчисленных писем.

Когда-то я спрашивал Лиду, не страшно ли ей в Ленинграде.

«…Я теперь как-то не совсем различаю, – писала она, – что страшно, а что не очень. Наверно, очень страшно было неделю жить один на один со своей умершей матерью, варить у её ног на буржуйке похлебку из 30 граммов муки и с тупой жадностью тут же поедать её.

Наверно, страшно потерять единственного ребёнка…

Тогда мне страшно не было. А сейчас я просто уже не понимаю, что страшно, а что нет…»

Дальше она писала, что ещё живёт на старой квартире, совсем возле передовой, и что написала мне несколько писем и опустила их в ящик, но думает, что я их не получил, так как в городе почти нет почтальонов.

Я перечитал письмо два раза. Я сидел, как вошёл, в полуушубке. На моих валенках таял снег, и в купе образовалась лужа. Мне казалось, что всё передо мной вытянулось в одну стремительную, куда-то уходящую линию. Я думал о том, что это письмо написано давно и что сейчас её, может быть, уже нет в живых. Может быть, сейчас, когда я читаю это письмо, она уже лежит мёртвая. А за городом взрывают землю для братской могилы. Мне показалось, что я слышу взрывы. Я прислушался. Это была тяжёлая артиллерия, и звуки выстрелов доносились до нашего поезда.

Я стал думать, что всё это неправда, что она жива и что я непременно увижу её. Почему она должна обязательно умереть? Не могут же там все умереть. Она выживет. Мне показалось, что я в Ленинграде и она рядом со мной. Мы любуемся городом в белую ночь и спорим, сколько же колонн у Исаакия. Мы всегда спорили об этом, когда смотрели в окно, и я всегда забывал сосчитать колонны, когда проходил мимо собора. Потом она стала исчезать, расплываться в белесом тумане, и я уже не мог представить себе её такой, какой знал всегда.

…Утром меня вызывал редактор.

– Здоров, Савин? – спросил он. – Тогда собирайся. Поедешь в Ленинград. Корреспондентом. Ясно?

В тот день я не мог писать, не мог говорить и только ходил взад и вперёд по узкому коридору вагона. Я нашагал, наверно, несколько километров. Я представлял себе, как войду в город, как сяду в трамвай и через каких-нибудь полчаса увижу Лиду. Я знал, что мне предстоит большая работа в Ленинграде. Но я знал, что выполню всё что угодно, если найду её.

– Ну вот видишь, как получилось, – сказал Венцель. – Я ж говорил, что будет письмо. Ты всегда меня слушай. Теперь ты с ней встретишься. А я вот своего Лёньку не скоро увижу…

На другой день я поехал в политуправление за командировкой и в поезд вернулся вечером.

Ночью мне предстояло выехать. Я стал укладывать вещи. Двигался точно в полусне. Неожиданность была слишком велика. Я всё ещё не мог прийти в себя. Весь вечер в поезд приходили люди. Многих из них я видел впервые. Каждыйносил свёртки и говорил, что у него в Ленинграде жена, мать или дочь. Я брал посылки и складывал их в углу дивана. Их скопилось очень много, но не хватало сил отказатьсь взять посылку в Ленинград.

Я должен был выехать в двенадцать часов ночи, доехать до Н-ской станции, оттуда добраться на попутной машине за сто километров, в район авиационного базирования, и там сесть на самолёт.

Вечером мы собирались в нашем купе. Губин достал водку. Но мне пить не хотелось. Это был первый случай, когда я отказался выпить на фронте. Мне хотелось сохранить ясность мыслей. Сейчас мне не нужна была водка. Я слушал, как булькает жидкость, наливаемая в жестяные кружки. Губин что-то говорил, и Венцель что-то отвечал ему, но я не улавливал, о чём они говорили.

— Ты смотри не забывай нас в Ленинграде, — сказал Венцель и дотронулся до моего колена.

— И узнай, пожалуйста, про моих друзей... И пишут ли там сейчас стихи, — добавил Губин.

Я ответил, что никого не забуду и напишу насчёт стихов.

— Вот ты и едешь! — проговорил Венцель.

— Да, — ответил я, — вот и еду...

Я встал, надел полушубок и стал поднимать свои мешки.

— Куда же ты пойдёшь за полтора часа? — удивился Венцель.

— Пусть идёт, — сказал Губин. — Я его понимаю, пусть он идёт.

Я пожал им руки, вышел из вагона и пошёл по железнодорожному полотну к станции.

Было очень странно идти к станции. Мы никогда не ходили туда. Мы обходили полуразбитое здание вокзала и сразу выходили на автотрассу. Поезда приходили и уходили обычно ночью. Я давно уже не видел настоящего поезда. Наша редакция перестала быть для нас поездом, то есть тем, что неразрывно связано с движением и станциями.

По путям сновали люди с фонарями, прикрывая свет полами полушубков. На платформах стояли орудия. Чехлы с них были сдёрнуты, и орудийные жерла смотрели в небо. Где-то в темноте таращел тягач. Гудели автомашины. Орудия одно за другим медленно съезжали с платформ по приставленным мосткам.

Комендант станции помещался в землянке. Когда я вошёл, он разговаривал по телефону. Я попросил разрешения отдохнуть немного — мешки были очень тяжёлые.

В землянку поминутно входили люди. Они спрашивали, кричали и требовали. Чувствовалось, что там, наверху, идёт лихорадочная работа. Комендант сказал мне:

— Так вот каждую ночь творится. Теперь для нас ночь — самый день. А к утру все утихомирятся. Тогда и поспать можно.

Я отдохнул немного, взял свои мешки и попрощался с комендантом.

— А куда это вы собирались? — спросил он, когда я жал ему руку.

— В Ленинград, — ответил я.

— В Ленинград... — протянул комендант не то удивлённо, не то восхищённо. — Ну, желаю вам, желаю... — И он потряс мою руку. — Вагоны уже на путях, вы прямо и садитесь.

Выбравшись из землянки, я пошёл вдоль линии отыскивать мои вагоны и нашёл их в тупике: три классных вагона дачного типа. Я залез в третий вагон. Там было уже полно народу. Сидели и лежали на нижних, верхних и багажных полках. Где-то в середине купе горел свет. Я протиснулся туда. На столике у окна лежал громадный кусок стеарина. Его прорезала нитка, и эта огромная свеча горела ровным, немигающим светом.

На скамье, с краю, сидел пожилой боец. Он держал между коленями котелок с водой и размешивал в нём какой-то концентрат. Над котелком вился пар. Боец подвинулся, и я присел рядом. Мешки с трудом засунул под скамейку.

— Ты что же с такими мешками путешествуешь? — спросил он меня.

— Своя ноша не тянет, — ответил я.

— Это так, — согласился пожилой боец, — а только солдату лишние вещи — обузда.

— Далеко еду, вот и вещей много, — отозвался я.

— Отвоевался, что ли? — спросил боец. — В тыл?

Я знал элементарное правило фронта — не говорить попусту, куда едешь, но всё же сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.